

Генис А.

Довлатов и окрестности (отрывок)

"Последнее советское поколение".

Серия радиоочерков, которую я хочу представить слушателям, была задумана уже несколько лет назад.

Давно было готово заглавие, использующее титул замечательной монографии Аксенова "Пикассо и окрестности". Предрешен был и тот свободный жанр "филологического романа", в котором написана моя любимая русская проза - от мандельштамовского "Разговора о Данте" до "Прогулок с Пушкиным" Синявского.

Но что особенно важно, сама собой сформулировалась центральная тема - исповедь последнего советского поколения, голосом которого стал Сергей Довлатов.

Тут, однако, необходимо затормозить повествование и пуститься в недлинные объяснения.

Когда я оглядываясь в недалекое, но все-таки уже и неблизкое прошлое, мне кажется, что у нас в Нью-Йорке в 80-е годы произошло что-то важное. Тогда так не казалось - жизнь как жизнь. Но сегодня, с расстояния удвоенного и утроенного густотой исторических событий, в этом прошлом открывается определенный и немаловажный смысл.

Так получилось, что тогда в нью-йоркской редакции Радио Свобода собралась группа русских литераторов, у которых полустихийно-полусознательно выкристаллизовалась исторически важная мысль. Вернее сказать, даже не мысль, а мироощущение, предвосхитившее или во всяком случае созвучное тому духу времени, которое сейчас установилось у нас в отечестве. Не зря мне так часто кажется, что постсоветская жизнь складывается по сценарию, опробованному на нас Америкой.

Суть этой не столько политической, сколько жизненной установки сводилась к тому, чтобы разрушить систему навязанных нам оппозиций, вроде социализм - капитализм. Вместо этого, мы исповедовали очень простой тезис: советскому режиму противостоит не антисоветский режим, а жизнь во всей ее сложности, глубине и непредсказуемости. вместо того, чтобы спорить с советской властью на ее условиях, мы предложили свои - смотреть на мир без доктринерских очков, говорить о жизни вне идей и концепций.

Довлатов не был ни родоначальником, ни вождем, ни идеологом, ни философом ни даже самым красноречивым защитником этой практики. Он просто был ее воплощением. Самая яркая фигура у нас на радио Свобода он стал знаменем и именем перемен, которые готовились и осуществлялись тесной группой единомышленников, в начале 80-х годов собравшихся по нашему - ставшему известному в России - нью-йоркскому адресу: Бродвей 1775.

Вот об всем этом я и хочу рассказать.

Сегодня мемуары пишет и стар и млад. Повсюду идет охота на невымышленную реальность. У всех - горячка памяти. Наверное, неуверенность в прошлом - реакция на гибель режима. В одночасье все важное стало неважным.

Обесценились слова и должности. Главный советский поэт в новой жизни стал куроводом. Точно, как последний римский император, если верить Дюренматту.

Воронка, оставшаяся на месте исчезнувшей страны, втягивает в себя все окружающее. Не желающие разделить судьбу государства, пишут мемуары, чтобы от него отмежеваться. Не удивительно, что лучше это удастся тем, кто к нему и не примазывался. Гордый своей маргинальностью, мемуарист пишет хронике обочины.

Раньше мемуары писали, чтобы оценить прошлое, теперь - чтобы убедиться: оно было. Удостовериться в том, что у нас была история - своя, а не общая.

Я родился в феврале 53-го. Свидетельство о рождении датировано пятым марта.

Загсы в этот день работали - о смерти Сталина сообщили позже.

Советская власть появилась за 36 лет до моего рождения и закончилась через 6; - с падением Берлинской стены. Угодив в самую середину эпохи, я чувствую себя не столько свидетелем истории, сколько беженцем из нее. В моей жизни все события - частные. Я не могу вспомнить ничего значительного - только незначительное. Что и дает мне смелость вспоминать.

Эти очерки начались дождливым майским днем в Петербурге. Я сидел в редакции "Звезды" и рассказывал о Довлатове. К таким расспросам я уже давно привык, не могу понять только одного: почему Довлатова изучают исключительно красивые и рослые славистки? Ладно - канадка, пусть - французенка, но когда в Токио меня допрашивала японка баскетбольного роста, я уже всерьез поразился мужскому обаянию Сергея, витающему над его страницами.

Так или иначе, мое петербургское интервью плавно катилось к исполненному, как положено, сдержанной скорби финалу. За это время к дождю за окном прибавился град и даже хлопья снега. Неожиданно в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалось - офеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар - импортные солнечные очки.

В этом была как раз та степень обыденного абсурда, который служил отправной точкой довлатовской прозе.

Довлатов дебютировал в печати мемуарами. Когда я прочел "Невидимую книгу" впервые, мне показалось, что в литературе стало тесно от незнакомых звезд.

Выросший в провинциальной Риге, где литературная среда исчерпывалась автором лирического романа о внедрении передовых методов производства, я завидовал Довлатову, как д'Артаньян трем мушкетерам.

Мир, в который дал заглянуть Довлатов, был так набит литературой, юмором и пьянством, что не оставлял места для всего остального. Он был прекрасен потому, что казался скроенным по нашей мерке.

Через год после смерти Довлатова я участвовал в посвященном ему вечере в Ленинграде. Для меня все, кто собрался на сцене, пришли туда из "Невидимой книги" - кубистический Арьев, гуттаперчивый Уфлянд, медальный Попов, Сергей Вольф,

списанный у Эль Греко. У Довлатова фигурировал даже зал дома союза писателей имени Маяковского. Последний запомнился мне больше всех - памятник поэту занимал весь гардероб.

С тех пор многие из друзей Довлатова стали моими приятелями. Но перечитывая "Невидимую книгу", я не могу отделаться от впечатления: подлинного в этих мемуарах только фамилии героев.

Друзья Сергея были и правда людьми замечательными, только на свои портреты они походили не больше, чем мультипликационные герои на угловатых персонажах кукольных фильмов. В жизни им не доставало того беглого лаконизма, который придало им довлатовское перо.

В исполнении Довлатова все они, блестящие, остроумные, одержимые художественными безумствами, выглядели крупнее и интереснее примостившегося с краю автора. Сергей сознательно пропускал их вперед.

Выведя друзей на авансцену, Довлатов изображал их тем сверхкрупным планом, который ломает масштаб, коверкает перспективу и деформирует облик, делая привычное странным.

Вот так на японской гравюре художник сажает у самой рамы громадную бабочку, чтобы показать в растворе ее крыльев крохотную Фудзияму.

Как она, Довлатов маячил на заднике своих мемуаров. О себе Сергей рассказывал пунктиром, перемежая свою историю яркими, как переводные картинки, сценками божественной жизни.

В этом было не столько смирение, сколько чутье. Перемешиваясь с другими, Довлатов вписывался в изящный узор. Свою писательскую биографию он не вышивал, а ткал, как ковер. Входя в литературу, Довлатов обеспечил себя хорошей компанией. Умирают писатели по одиночке, рождаются - вместе.

Поколение - это квант литературной истории, которая может развиваться только скачками. В словесности всякая преемственность прерывистая.

Смена поколений происходит рывком. Накопившиеся противоречия в интонациях концентрируются до того предела, за которым и спорить не о чем.

Однако поскольку размежевание происходит в одной среде - другую, как написано у Довлатова, они бы не то что в литературу, в автобус не пустили-, то и осознать происшедшую перемену также трудно, как увидеть себя со всех сторон сразу. Для этого нужны другие. Поколение как субботник. Оно реализуется в массе. Меняется не индивидуальный стиль, а коллективные ценности - этические приоритеты, ритуалы, реакция на окружающее, окружающее.

Но и этого мало. Как всякий бунт детей против отцов, разрыв с предыдущим поколением не только мучителен, но и бесполезен до тех пор, пока он не завершится появлением нового поколения. Чтобы это произошло, нужен центр конденсации. Как магнит в броуновском движении железных стружек, он обнаруживает структуру и

порядок в хаосе дружеского общения. 20 лет спустя Валерий Попов, сказал: "Довлатов назначил нас поколением".

Удача, судьба и история сделали его последним советским поколением.

Набоков пишет, что Гоголь сам создавал своих читателей. Довлатову читателей создала советская власть. Сергей стал голосом того поколения, на котором она кончилась. Не удивительно, что оно и признало его первым.

Моложе меня в эмигрантской литературе тогда никого не было, а те, кто постарше, от Довлатова кривились. Особенно недоумевали слависты - им было слишком просто.

Сергей, в отличие от авангардистов, нарушал норму без скандала. Он не поднимал, а опускал планку. Считалось, что Довлатов работает на грани фолла: еще чуть-чуть и он вывалится из литературы на эстраду. В его сочинениях ощущался дефицит значительности, с которым критикам было труднее примириться, чем читателям.

Даже такие восторженные поклонники, как мы, напечатали в "Новом американце", что Довлатову авансом досталась любовь читателей, которые после очаровательных пустяков ждут от него вещи толстой и важной. Озадаченный этой "толстой вещью" Сергей спросил, не подумают ли подписчики, что речь идет о чем-то неприличном.

В рассказах Довлатова не было ничего важного. Кроме самой жизни, разумеется, которая простодушно открывалась читателю во всей своей наготы. Не прикрытая ни умыслом, ни целью, она шокировала тем, что не оправдывалась. Персонажи Довлатова жили не хорошо, не плохо, а как могли.: вину за это автор не спихивал даже на режим.

Советская власть, привыкшая отвечать не только за свои, но и за наши грехи, у Довлатова незаметно стушевывалась. Власть занимала ту зону бедствий, от которой нельзя избавиться, ибо она была непременным условием существования.

Не то, чтобы Довлатов примирялся с советскими безобразиями. Просто он не верил в возможность улучшить человеческую ситуацию. Изображая советскую власть как национальную форму абсурда, Сергей не отдавал ей предпочтения перед остальными его разновидностями. Довлатов показал, что абсурдна не только советская, а любая жизнь. Вместе с прилагательным исчезало ощущение исключительности нашей судьбы.

В книгах Довлатова разоблачаются не люди и не власти, а могучий антисоветский комплекс, который я бы назвал мифом Штирлица. Что главное в знаменитом сериале? Лыстящее самолюбию оправдание двойной жизни. Штирлиц вынужден прятать от всех лучшую часть своей души. Только исключительные обстоятельства - жизнь в кругу врагов! - мешают ему проявить свою деликатность, чуткость, тонкость и необычайные таланты, включая и такие редкие, как умение писать левой рукой по-французски. Впрочем, все эти качества Штрилиц все-таки иногда демонстрирует, но - за границей. На родине, видимо, не стоило и пытаться.

Лишившись униженного статуса жертв истории, герои Довлатова теряют и вражеское окружение, на которое можно все списать. Их политические проблемы заменяются экзистенциальными, личными, даже интимными.

Режим - это форма нашего существования, а не чужого правления. Он внутри, а не снаружи. Ему негде быть, кроме как в нас, а значит с ним ничего не поделаешь.

В мире Довлатова нет бездушных принципов, но полно беспринципных душ.

Герои Довлатова лишены общего идейного знаменателя. Личные мотивы у них всегда превалируют над общественным интересом: его мать ненавидит Сталина из-за того, что он грузин, а дядя идет на войну, потому что и в мирное время любил подраться.

Довлатов деконцептуализировал советскую власть. Собственно, он сказал то, о чем все уже знали: идеи, на которой стояла страна, больше не существует. К этому он добавил кое-что еще: никакой другой идеи тоже нет, потому что идей нет вовсе.

Осознание этого обстоятельства и отличает последнее советское поколение от предпоследнего. Одни противопоставляли верные идеи ложным, другие не верят в существование идей.

Падение всякой империи упраздняет тот универсальный принцип, который ее объединял, оправдывал и позволял с нею бороться. Освобожденная от плана реальность становится слишком многообразной, чтобы ее можно было объяснить - только описать.

Сырая жизнь требует непредвзятого взгляда. Идеологию истолковывают, на жизнь смотрят, желательно - в упор. Писатели предыдущего поколения говорили о том, как идеи меняют мир. Довлатов писал о том, как идеи не меняют мир - и идей нет, и меняться нечему.

Жизнь без идей компрометировала прежнюю этическую систему. Особенно ту нравственную риторику, которой друзья и враги советской власти выкручивали друг другу руки.

Довлатовской прозе свойственен подпольный аморализм. Он заключается в отсутствии общего для всех критерия, позволяющего раздавать оценки. Герой Довлатова живет "по ту сторону добра и зла". Но не как ницшеанский сверхчеловек, а как недочеловек - скажем, кошка.

С животными, кстати, у меня мораль связана с детства. Впервые услышав про нее от отца, я стал ему доказывать, что мораль - это травоядное. Мы даже поспорили на лимонад с пирожным. И я выиграл, продемонстрировав в детской энциклопедии фотографию - олень с ветвистыми рогами, а под ним черным по белому: "марал".

Довлатов к диссидентам относился хмуро, не доверял, сдержанно иронизировал.

Описывая разгон эстонского либерализма, он завершает абзац чисто щедринской фразой: "Лучшая часть народа - двое молодых ученых - скрылись в подполье".

Издали героизм вызывает восхищение, на более близком расстоянии - чувство вины, вблизи - подозрения.

Один мой отсидевший свое знакомый говорил, что направлять власть обычно рвутся те, кто не знают, как исправить дела дома. Что и понятно: семью спасти труднее, чем родину. Да и служить отечеству веселее, чем просто служить.

Чжуан-цзы говорил: "Проповедовать добро, справедливость и благородные деяния перед жестокосердным государем значит показать свою красоту, обнажая уродство другого. Поистинне такого человека следовало бы назвать "ходячим несчастьем".

Идеализм - постоянный источник подспудного раздражения, потому что он требует ответа. Все равно, что жить со святым или обедать с мучеником.

Впрочем, святыми диссиденты себя и не считали. Да и не так уж часто они кололи глаза своими подвигами.: все-таки антисоветское начало настораживало не меньше, чем советское.

По-моему, к диссидентам относились, как к священникам: и те, и другие - последние, которым прощают грехи. Видимо, презумпция добродетели - слишком сильное искушение для злорадства.

Так или иначе, но единственный случай, когда Довлатов при мне использовал по назначению свои незаурядные физические данные, был связан с диссидентом. В "Филиале" Сергей изобразил его под фамилией Акулич. Как ветерана "непримиримой идейной борьбы" его выдвигают в президенты свободной России.

Но тут встает "красивая женщина-фотограф" и требует, чтобы он отдал 60 долларов за сделанные ею слайды. В ответ Акулич говорит: "Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете?!" Я знал участников этой истории: фотографа, нашу вечно бедствовавшую приятельницу, у которой до сих пор за телефон не плачено, и ветерана "Акулича". При мне была произнесена и сакраментальная фраза, услышав которую, Довлатов сбросил борца с тоталитаризмом с нашей тесной редакционной лестницы. Через минуту потерпевший просунул голову в дверь, хлопотливо приговаривая: "Зима на улице, а я тут пальто забыл".

"Пушкин" Лучшим детективом Честертон считал рассказ Конан-Дойля "Серебряный", названный по кличке жеребца, убившего конюха. Соль в том, что имя преступника мы узнаем не в конце, а в самом начале - в заглавии.

С "Заповедником" - та же история. Как всегда у Довлатова, секрет лежит на поверхности. Дело в том, что Заповедник - не музей, где хранятся мертвые и, к тому же, поддельные вещи, изготовленные, как утверждал Сергей, "неким Самородским". Заповедник - именно что заповедник, оградой которому служит пушкинский кругозор. Пока один Заповедник стережет букву пушкинского мифа, другой, тот, что описал Довлатов, хранит его дух.

Великая его особенность - способность соединять противоречия, не уничтожая, а подчеркивая их. Во вселенной Пушкина нет антагонизма - только полярность.

Его мир шарообразен, как глобус. С Северного полюса все пути ведут к югу.

Достигнув предела низости, пушкинские герои, вроде того же Пугачева, обречены творить не зло, а добро. Не аморализм, а пронизательность стоит за пушкинскими словами, которые так любил повторять Довлатов: "поэзия выше нравственности". Только сохранив в неприкосновенности неизбежную и необходимую, как мужчина и женщина, биполярность бытия, писатель может воссоздать мир в его первоначальной полноте, нерасчлененной плоским моральным суждением.

В "Заповеднике" у Довлатова без конца допытываются, за что он любит Пушкина.

Думаю, за то, что Пушкин не отвергал навязанные ему роли, а принимал их - все: "не монархист, не заговорщик, не христианин - он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом". Довлатов любил Пушкина за то, что в этом большом человеке нашлось место и для маленького человека. Сергей писал: Пушкин, в котором "легко уживались Бог и дьявол", погиб "героем второстепенной беллетристики. Дав Булгарину законный повод написать:

"великий был человек, а пропал, как заяц".

Довлатовская книга настояна на Пушкине, как рябина на коньяке. Она вся пронизана пушкинскими аллюзиями, но встречаются они в нарочито неожиданных местах. Например, пошлая реплика кокетничающей с Довлатовым экскурсовода Натэллы - "вы человек опасный" - буквально повторяет слова Доны Анны из "Каменного гостя". Оттуда же в довлатовскую книгу пришел его будущий шурин.

Сцена знакомства с ним пародирует встречу Дон Гуана с командором: "Над утесами плеч возвышалось бурое кирпичное лицо... Лепные своды ушей терялись в полумраке... Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу... я чуть не застонал, когда железные тиски сжали мою ладонь".

Важнее прямых аналогий - само пушкинское мировоззрение, воплощенное не в словах, а в образах - в героях "Заповедника", каждый из которых состоит из непримиримых, а потому естественных противоречий. На них указывает даже такой мимолетный персонаж, как украшающая ресторан "Витязь" скульптура "Россиянин". Творение отставного майора Гольдштейна напоминало "одновременно Мефистофеля и Бабу-Ягу".

О тех же дополняющих друг друга, как янь и инь, противоречиях говорит и символическая, словно герб, картинка, которой Довлатов начинает описание своего заповедника: "Две кошки геральдического вида - угольно-черная и розовато-белая - жеманно фланировали по столу, огибая тарелки".

Эта черно-белая пара готовит читателя к встрече с настоящими героями книги, о которых нам так и не удастся составить ни определенного, ни окончательного мнения.

Самый обаятельный из них - безнадежный пропойца Михаил Иванович Сорокин.

Довлатов описывает его, как того русского молодца, которого - по пословице - и сопля красят: "Широкоплечий, статный человек. Даже рваная, грязная одежда не могла его по-настоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий четкий шаг... Я невольно им любовался".

Михаил Иванович проходит по книге, как летающая тарелка, - таинственным, так и неопознанным объектом. "Нелепый в доброте и зле", он живет невпопад и говорит случайно. Лучшее в нем - дремучий язык, сквозь который иногда пробивается поэзия. Про жену он говорит: "спала аккуратно, как гусеница".

Произвольные реплики Михаила Ивановича служат не общению и не самовыражению, а заполнению пауз между походами за плодово-ягодным. Но, как рожь василькам, русской речи идет эта невольная заумь, столь отличная от красующихся

"самовитых" слов футуристов. Речь Михаила Ивановича - это жизнь языка, предоставленного самому себе: "эт сидор-пидор бозна где". Михаил Иванович занимает первое место в длинном ряду алкашей-аристократов, которые в прозе Довлатова играют ту же роль, что благородные разбойники у Пушкина. "Жизнелюбивые, отталкивающие и воинственные, как сорняки", они - бесполезны и свободны. Верные своей природе, они, как флора и фауна, всегда равны себе. Больше им и быть-то неким.

Собственно, все любимые герои Довлатова как иллюстрации к учебнику "Природоведение". Безвольный эрудит Митрофанов - "прихотливый и яркий цветок" - принадлежит "растительному миру". Спокойная, как "утренняя заря", жена Таня "своим безграничным равнодушием напоминала явление живой природы." Сюда же относится и фотограф Валера, которым Сергей гордился больше, чем другими, понимая однако, что как раз из-за этого безудержного болтуна его лучшая книга не поддается переводу.

Валера, как эхо. Он тоже ближе к природе, чем к культуре. Поток речи льется из него свободно и неудержимо, как река: "Вы слушаете "Пионерскую зорьку"..."

У микрофона - волосатый человек Евстихийев... Его слова звучат достойной отповедью ястребам из Пентагона..." Спрашивать о смысле всего этого также бесполезно, как толковать журчание ручья. Если в этом безумном словоизвержении и есть система, то она нам недоступна, как язык природы.

В "Заповеднике" Довлатов любовно разделяет два вида лингвистического абсурда. Речь ставящего слова наудачу Михаила Ивановича бессмысленна, и бессвязный полив Валеры непонятен. Один изымает логику из грамматики, второй - из жизни.

Впрочем, для нас важно, что оба говорят не по-человечески, а "по-птичьи".

Если речь Михаила Ивановича, как сказано у Довлатова, сродни "пению щегла", то Валера напоминает о попугае.

У Сергея, кстати сказать, жили два зеленых попугайчика, но они не умели говорить. Зато один мой знакомый поэт научил своего огромного ара не только говорить, но и дразнить живущего там же ручного хорька. Каждое утро несчастное животное просыпалось под издевательские вопли бразильского попугая, выкрикивающего "Хорек - еврей!" Видимо, попугаи - типично писательские птицы. Бахчанян, впрочем, утверждал, что у них могло быть и более достойное призвание. Как известно, Франциск Ассизский читал проповеди птицам, в основном - голубям. Они до сих пор живут возле его кельи. Так вот, Вагрич считал, что если бы Франциска слушали не голуби, а попугаи, они смогли бы донести до нас слова святого.

Галерея чудачков в "Заповеднике" - лучшая у Довлатова. Сергей был сильнее всего во фронтальном изображении героев. Отсутствие заранее выбранной позиции, да и вообще определенной концепции жизни подготавливало его к тем неожиданностям, которыми нас дарит неумышленная действительность.

Этим довлатовская проза напоминает сад камней, который мне довелось видеть в Пекине. В императорский парк Запретного города веками свозили причудливые речные глыбы, добытые со дна Ян-цзы. Прелесть этих необработанных камней в том, что они лишены умысла. Красота камня - не нашей работы, поэтому и сад камней не укладывается в нашу эстетику. Это - не реализм, не натурализм, это - искусство безыскусности. Не

может быть камня "неправильной формы", потому что для него любая форма - правильная, своя.

В довлатовской прозе персонажи, как причудливые глыбы в саду камней, живут каждый по себе. Их объединяет лишь то, что с ними ничего нельзя сделать, в том числе - понять.

Поэтому довлатовский диалог часто напоминает разговор глухих. Собеседники у него не столько спрашивают, сколько переспрашивают друг друга. Всякая реплика плодит недоразумение, попытки разрешить которое только ухудшают дело. Поскольку каждый пользуется своим, непонятным другому языку, то речь перестает быть оружием. Диалог - не поле боя, а арена, где каждый говорит, не заботясь о другом. Их тут все равно некому слушать, кроме, конечно, автора, виртуозно воспроизводящего в "Зоне", например, такое лагерное qui pro quo:

- Придет, бывало, кум на разговоренье...

- Кум? - забеспокоился Ероха. - опер, что ли?

- Опер... Сам ты - опер. Кум, говорю... родня...

Это солировал зэк из крестьян. А вот "вор в законе":

Да, я умел рогами шевелить. Аж девы подо мной кричали!..

- Что без толку кричать? - сказал Замараев.

- Эх ты, деревня! А секс?

- Чего? - не понял Замараев.

В "Заповеднике" лишены смысла даже те диалоги, которые ведут самые близкие люди. Так, каждый разговор героя с будущей женой лишь усугубляет их взаимонепонимание:

- Нет у меня родителей, - печально ответила Таня.

Я смутился.

- Простите, - говорю, - за бестактность...

- Они живут в Ялте, - добавила Таня, папаша - секретарь райкома...

Или так:

- Один повесился недавно. Его звали - Рыба. Прозвище такое...

Так он взял и повесился... Сейчас он работает корректором.

- Кто?! - вскричал я.

- Рыба. Его удалось спасти. Сосед явился к нему за папиросами...

Дальше - только хуже. Чем ближе становятся герои, тем меньше они понимают друг друга:

Как-то раз я водворил над столом фотографию американского писателя Бэллоу.

- Белов? - переспросила Таня. - Из "Нового мира"?

- Он самый, - говорю...

Прекращает эту трагикомическую неразбериху лишь Танина эмиграция, которую она защищает явно не своими словами. Только этот диалог и имеет смысл, и то потому, что для него Довлатов просто поделил поровну собственные аргументы.

Однако, и это не помогло им договориться. Дело в том, что для героя "Заповедника" "ехать-не ехать" - не настоящий вопрос. Настоящий вопрос - не где жить, а как.

"Заповедник" - роман испытания и воспитания, рассказ о приобщении автора к пушкинской вере, к его, так восхищавшему Сергея "олимпийскому равнодушию".

Довлатова покоряла способность Пушкина подняться над антагонизмом добра и зла: "Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу". Эта зловещая сцена из "Капитанской дочки" узнается в одном из любимых довлатовских пейзажей - луна, которая светит и хищнику и его жертве.

Редкий, малословный, ускользающий от внимания пейзаж Довлатова - красноречивая декларация его философии, отнюдь не только литературной.

Орудя, как часовщик пинцетом, Довлатов вынимал из окружающего нужные ему детали. Остальное шло на пейзажи. Они не помогают сюжету. В них нет значительности, намека, подтекста. Мелкие подробности мира, они оправдывают свое присутствие в тексте только тем, что существуют и за его пределами.

Пейзаж у Довлатова не участвует в действие, он просто есть. Все, что попадает в него, не отражает лучи освещающего авторского внимания, а светится само, как на картинах Вермеера. Сергей сторожил эту загадочную люминесценцию:

"За окном рисовался вокзальный пейзаж.

Довоенное здание, плоские окна, наполненные светом часы..." Еще в молодости Довлатов утверждал: "каждая художественно изображенная вещь, предмет уже несет в себе поэтическую мысль".

Следуя собственному правилу, Сергей тщательно воспроизводил цвет, форму, текстуру безразличной сюжету вещи. Так он восстанавливал справедливость, которую нарушает неизбежный авторский произвол. "Нестреляющие ружья" довлатовских описаний освобождают природу от навязанной иерархии. Для нее лишнее и необходимое - синонимы. Антонимами их делает лишь наш предрассудок, разоблачая который Сергей обращается к особому приему. Его хорошо описывает иезуитский совет Довлатова: "Когда торопишься, хорошо замедлить шаг".

Кульминационные моменты довлатовской прозы отмечены сгущением ничего не говорящих деталей. Вернее, они ничего не говорят только занятому собой герою. В острых ситуациях Довлатов покидает своего почти неотличимого двойника, чтобы оглядеться по сторонам как раз тогда, когда тот на это не способен.

В "Зоне", например, есть такой абзац: "Надзиратель положил бутылку в карман.

Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается шурша".

Кому, спрашивается, слышно?

В "Заповеднике" герой, подойдя к дверям управления, за которыми его ждет майор КГБ, нажимает "симпатичную розовую кнопку". А вот как на измученного запоем героя обрушивается роковая весть: "Девица стыдливо отвернулась. Затем вытащила из лифчика голубоватый клочок бумаги, сложенный до размеров почтовой марки. Я развернул нагретую телеграмму и прочел: "Улетаем средю ночью. Таня. Маша".

"Нагретая телеграмма" - моя любимая героиня Довлатова. Она напоминает одно стихотворение Одена. В нем он хвалит старых мастеров за то, что изображая казнь, они не забывали показать и лошадь палача, почесывающуюся о дерево.

При всем эгоцентризме довлатовской прозы, где кроме Я, в сущности, и нет героя, Сергей никогда не забывал, что миру нет дела до наших бед.

Периферийное зрение автора, уравнивая в правах все элементы мироздания, делало сплошной ткань бытия.

Всякий писатель мечтает об одном: вставить в свою книгу весь мир, убрав из него все лишнее.

Писатель - последний хранитель цельности в мире распавшегося знания. Он собирает то, что другие разбрасывают. Складывая, он получает результат, превышающий сумму частей. Прибавочной стоимостью литература расплачивается с читателями.

Цельность, однако, такой товар, который легко поддается фальсификации. Одни авторы ее имитируют, пряча от себя и читателей торчащие концы. Так, заметая мусор под кровать, холостяки убирают комнату перед свиданием.

Другие авторы подменяют цельность ее схемой. Так поступают пьяные, ищущие потерянные часы там, где светлее.

Третьи, отказавшись от поисков цельности, демонстрируют обнаженную несуразицу абсурда.

Труднее всего приходится самым честным авторам, которые готовы, как говорил Бекетт, "впустить в мир беспорядок". Им приходится признать существование хаоса, страдать от него, сжиться с ним, научиться его уважать, даже любить и терпеливо ждать, когда - и если - в нем откроется скрытый от непросветленного взгляда порядок.

Довлатов знал цену "чудодейственной силы абсурда", но мечтал он о норме, которая тоже "вызывает ощущение чуда".

Норма - это и начало и конец пути. К норме нельзя прийти. К ней можно только вернуться. И чем больше писатель, тем длиннее окружность, которую он описывает вокруг хаоса, возвращаясь к банальности исходной точки.

Когда китайский художник начинал писать пейзаж, он видел перед собой лишь горы и реки. Многие годы вместо гор и рек он учился изображать их суть и душу. А потом в один прекрасный момент пелена спадала с его глаз и он обнаруживал, что перед ним - горы и реки. Все в мироздании становилось на свои места, хаос оказывался космосом, и мир впускал художника в себя, открывая ему неизбежность своего с ним единства. Нет у художника темы помимо этой. Но и ее он решает только для себя. Он может лишь позвать нас идти - не за собой, а туда же, куда шел он.

В письме, относящемся как раз к тому периоду, когда Довлатов работал над будущим "Заповедником", есть признание, которое Сергей назвал "метафорическим выпадом": "Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни черта не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки - тоже." В финале "Заповедника" Довлатов, совершив "шаг от парадокса к трюизму", пришел туда, где случайное совпадает с необходимым:

"Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все свершалось на моих глазах..." "Концерт для голоса с оркестром" Брайтон-Бич разворачивалась так стремительно, что я успел застать рассвет, расцвет и закат нашей эмигрантской столицы. Довлатов, правда, приехал чуть позже, так что ему не пришлось увидеть, как все это начиналось.

Первые заведения на Брайтоне назывались простодушно - по-столичному:

"Березка", в которой, как в сельпо, торговали всем сразу - солеными огурцами, воблой, матрешками, и смахивающий на вокзальный буфет гастроном "Москва".

Хозяином обоих был пожилой богатырь Миша, глядя на которого хотелось сказать "ты еще пошумишь, старый дуб". Похожий на бабелевских биндюжников, он отличался добродушием и небогатой фантазией. Когда дела пошли совсем хорошо, он открыл филиал на Барбадосе и назвал его "Красная Москва". Рассказывали, что после того, как эмигрантов перестали выпускать, Миша выкупил у советских властей взрослую дочку. Уже на следующий день она стояла за прилавком.

Между "Березкой" к "Москвой" целыми днями циркулировали стайки эмигрантов.

Униформа у всех была одна, как в армии неизвестно какой державы. Зимой - вывезенные из России пыжики и пошитые в Америке дубленки. Летом - санаторные пижамы и тенниски. В промежутках царили кожаные куртки. Местная жизнь сочилась пенсионным благополучием. Неподалеку от моря, за столиками, покрытыми советской клеенкой, под плакатом с коллективным портретом "Черноморца" немолодые люди играли в домино, не снимая ушанок.

Брайтон еще лишь начинался. В Россию еще только отправлялись первые конверты со снимками: наши эмигранты на фоне чужих машин. Правда, уже тогда появился пляжный фотограф, который предлагал клиентам композицию с участием фанерных

персонажей из мультфильма "Ну, погоди!". Раньше многих он понял, что тут Микки Маус не станет героем.

Прошло много лет, но на Брайтоне по-прежнему все свое. Не только черный хлеб и чесночная колбаса, но и ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ни в чем не признает американского прейскуранта. Здесь - и только здесь - можно купить узбекские ковры, бюстгальтеры на четыре пуговицы, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине, зубную пасту "Зорька".

Индустрия развлечений на Брайтоне тоже эндемичная - свои звезды, свои лауреаты всесоюзных конкурсов, свои застольные ритуалы, свой юмор и, конечно, собственная пресса. На ее страницах эмиграция продолжает общение на языке, считавшемся пригодным лишь для приватного, если не альковного общения. Только на Брайтоне никто не вздрогнет, прочитав в газете, что Жорика и Беаточку поздравляют с золотой свадьбой. Из-за любви Брайтона к уменьшительным суффиксам кажется, что здесь живут люди с птичьими именами:

Шмулики, Юлики, Зяблики.

Разбогатеv, Брайтон не перестал говорить по-своему и тогда, когда обзавелся неоновыми вывесками. Об этом свидетельствует магазин "Оптека", в котором можно заказать очки или купить аспирин, и ресторан, на котором латинским шрифтом написано Саруссина, а внизу русский перевод - "Пельмени".

Иногда на Брайтон заходят американцы. Однажды я встретил в шашлычной пару вуди-алленского типа. Молодой человек, видимо, начитавшись Достоевского, заказал тарелку икры и стакан водки. Через пятнадцать минут его уже вытаскивали из-за стола. Несчастный бормотал: "Это не ресторан, это - Holocaust!" Наших, казалось бы, спиртным не удивишь. Но только здесь мне довелось встретить соотечественников, выпивших бутылку "Курвуазье", не слезая с верхнего полка русской парной.

Брайтон умеет поражать и своих. Мне никогда не приходилось видеть в одном месте столько лишенных комплексов евреев. Довлатова они тоже удивляли:

"Взгляд уверенный, плечи широкие, задний карман оттопыривается... Короче - еврей на свободе. Зрелище эффектное и весьма убедительное. Некоторых оно даже слегка отпугивает..." В России евреи не любят высываться. Отец мой, например, не одобрял Киссинджера, боясь, что евреям еще придется отвечать за внешнюю политику своего соплеменника. Но на Брайтоне никто ничего не боится, и всем говорят, что думают. Как-то мы познакомились тут с невысоким человеком, у которого вместо зубов был лишай через щеку. Осведомившись о роде наших занятий, он схватился за лысую голову, причитая: "Ой, что вы делаете! Амегика любит сильных".

На Брайтоне, как я уже говорил, все свое. В том числе и поэт Бродский. Зовут его, правда, не Иосиф. Впрочем, больше тут любят не стихи, а песни. Особенно одну, с припевом "Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой". Сочинил ее Вилли Токарев. С тех пор, как его таксистская муза пересекла океан, не замочив подола, он стал говорить, что до него в эмиграции поэтов не было.

Это не совсем так. Поэтом Третьей волны был Наум Сагаловский. Открыл его Довлатов и гордился им больше, чем всеми своими сотрудниками вместе взятыми.

"Двадцать лет я проработал редактором, - писал Сергей, - Сагаловский - единственная награда за мои труды". Довлатов любовно защищал Сагаловского от упреков в шукарстве и антисемитизме: "Умение шутить, даже зло, издевательски шутить в собственный адрес - прекраснейшая, благороднейшая черта неистребимого еврейства. Спрашивается, кто придумал еврейские анекдоты? Вот именно..." Знавшего толк в ловком искусстве репризы, Сергея не отталкивал, а притягивал эстрадный характер стихов Сагаловского. "Если бы в эмиграции, - писал он ему, - существовал культурный и пристойный музыкальный коллектив, не кабацкий, а эстрадный, то из нескольких твоих стихотворений можно было бы сделать хорошие песни". Однажды Довлатов это доказал. После того, как Сергей выпустил вместе с Бахчаняном и Сагаловским "эксцентрическую" по его выражению книгу "Демарш энтузиастов", в Нью-Йорке состоялась встреча авторов с читателями. Вел ее, естественно, Довлатов. Представив сидящих по разные стороны от него соавторов, Сергей задумчиво огляделся и заметил, что сцена напоминает ему Голгофу. Затем он немного поговорил о народности поэзии Сагаловского, а потом неожиданно для всех спел положенное им на музыку стихотворение, которое Наум посвятил Бахчаняну:

Закажу натюрморт, чтоб глядел на меня со стены, чтобы радовал глаз, чтобы свет появился в квартире, Нарисуй мне, художник, четыреста грамм ветчины, малосольных огурчиков, неженских, штуки четыре.

Случайно попав в "Новый Американец", Сагаловский стал там любимцем. Он обладал редким и забытым талантом куплетиста, мгновенно откликающегося на мелкие события эмигрантского мирка. Сергей чрезвычайно ценил это качество.

Он писал Сагаловскому: "Без тебя в литературе не хватало бы очень существенной ноты. Представь себе какую-нибудь "Хованщину" без ноты "ля".

Виртуоз домашней лиры, Сагаловский лучше всего писал пародийные альбомные стихи, рассчитанные на внутреннее потребление:

Эти Н. Американцы - им поэт - что жир с гуся - издеваются, засранцы, поливают всех и вся!..

А живут они богато, пусть не жалобят народ!

Вон - писатель С. Довлатов третью книгу издает.

Ест на праздничной посуде, пьет смирновку, курит "Кент" и халтурит в "Ундервуде", - как-никак, лишний цент.

Эти - как их? - Вайль и Генис, - я их, правда, не читал, - это ж просто Маркс и Энгельс!

Тоже ищут капитал!..

Конечно, все это напоминает студенческую стенгазету, но именно ее и не хватало нашей изнывающей от официоза эмиграции, чьей беззаботной и беспартийной фракцией мы стали. "Новый американец" оказался последним коммунистическим субботником. "Свободный труд свободно собравшихся людей" позволял нам обменивать долги на надежды. Сергей писал: "Положение все еще трудное, - но оно - окончательно

перспективное. Хотя Вайль четыре месяца не платил за квартиру, а Шарымова питается только в гостях".

Нужда не мешала всем так упиваться собой и работой, что наш энтузиазм заражал окружающих. Довлатов считал это время лучшим в своей жизни.

В Америке эмигрантам больше всего не хватает общения. Наша незатейливая газета отчасти его заменяла. Она подкупала фамильярностью тона, объединяющего Третью волну в одну компанию. Все, что здесь происходило, было делом сугубо частным. В первую очередь - литература. Что и не удивительно - нас ведь было очень немного. Всех эмигрантских писателей можно было позвать на одну свадьбу. Читателей, впрочем, тоже, но тогда свадьба была бы грузинской.

Попав в такие условия, литература вернулась к тому, с чего она начиналась - непрофессиональное, приватное занятие. Напечатанные крохотными тиражами книги писались для своих - и друзей, и врагов.

Ненадолго отделившись от ответственности, литература вздохнула с облегчением. Сэлинджер советовал художникам использовать коричневую оберточную бумагу: "Многие серьезные мастера писали на ней, особенно когда у них не было какого-нибудь серьезного замысла".

Издав "Компромисс", Сергей напечатал на задней обложке отрывок из нашей статьи, который начинался словами "Довлатов - как червонец: всем нравится." На что Сагаловский немедленно откликнулся "Прейскурантом", подводящим сальдо всей эмигрантской литературе. В стихах, написанном в излюбленном тогда жанре дружеской пикировки, есть и про нас: ... и никуда не денешься, и вертится земля...

Забыли Вайля с Генисом:

За пару - три рубля.

Они, к несчастью, критики, и у меня - в цене, но хоть слезами вытеки, не пишут обо мне.

Я с музами игривыми валяю дурака, и где-то на двугривенный еще тяну пока...

Первый сборник Сагаловского - "Витязь в еврейской шкуре" - вышел в специально придуманном для этой затеи издательстве "Dovlatov's Publishing".

Надписывая мне книгу, Наум аккуратно вывел: "Двугривенный - полутарорублевому".

Как водится, Сагаловский разительно отличался от своих стихов. Вежливый, глубоко порядочный киевский инженер с оперным баритоном, он придумал себе маску ранимого наглеца. Свои стихотворные фельетоны Сагаловский писал от лица "русского поэта еврейской национальности" Мотла Лещинера. Этого практичного лирика с непобедимым чувством здравого смысла трудно было не узнать в брайтонской толпе:

Вчера мой внук по имени Давид пришел со школы, съел стакан сметаны, утерся рукавом и говорит, что он произошел от обезьяны.

Я говорю: "Дурак ты или псих?"

Сиди и полировку не царапай!

Не знаю, как и что насчет других, но ты произошел от папы с мамой".

Герой Сагаловского, обуреваемый мечтой занять в Новом Свете место, которого и в Старом-то не было, представлял эмигрантскую версию "маленького человека", не известно зачем перебравшегося в просторную Америку из своей малогабаритной, но родной квартиры:

Метраж у нас был очень мал, я рос у самого порога, меня обрезали немного, чтоб меньше места занимал.

Живя в Чикаго, Сагаловский Брайтона не любил и не стеснялся ему об этом говорить прямо. Так, в ответ на нашу статью о сходстве Брайтона с бабелевской Одессой, пришел анонимный отклик, автора которого отгадать было, впрочем, не трудно:

Мне говорят, кусок Одессы, ах, тетя Хая, ах, Привоз! Но Брайтн-Бич не стоит мессы, ни слова доброго, ни слез. Он вас унизил и ограбил, и не бросайте громкий клич, что нужен, дескать, новый Бабель, дабы воспел ваш Брайтон Бич.

Воздастся вам - где дайм, где никель! Я лично думаю одно - не Бабель нужен, а Деникин! Ну, в крайнем случае - Махно...

Брайтон-Бич можно было презирать, но не игнорировать. Там жили наши читатели. И мы хотели им понравиться. Сергею это удавалось без труда.

Напрочь лишенный интеллектуального снобизма, Сергей терпимее других относился к хамству и невежеству своих читателей.

Сегодня, чтобы добиться их расположения, можно просто перепечатывать уголовные репортажи из российских газет. Ничто так не красит "новую" родину, как плохие новости с родины "старой". Но пока советская власть была жива, читателю приходилось довольствоваться куда менее живописной диссидентской хроникой. Поэтому развлекая эмигрантскую аудиторию, мы рассказывали ей либо о хорошо знакомом, либо о совсем неизвестном. В последнем случае в ход шли заметки под общим названием "Женщина в объятиях крокодила". В первом - интервью, для которых тот же язвительный Сагаловский придумал рубрику "Как ты пристроился, новый американец".

Сергей охотно участвовал в ней, описывая успехи своих многочисленных приятелей. В его изложении все они казались писателями. Так, один наш общий приятель, врач, прослуживший много лет на подводной лодке и редко обходившийся без мата, в беседе с Довлатовым, нарядно названной "Досужие размышления у обочины желудочно-кишечного тракта", поет этому самому тракту пеан:

"Внутренние органы необычайно гармоничны. Болезнь, собственно, и есть нарушение гармонии. Здоровый организм функционирует в причудливом и строгом ритме. Все это движется и постоянно меняет оттенки. Любой абстракционист может позавидовать. Жаль, что я не режиссер, как мой друг Соля Шапиро. Я бы снял гениальный фильм про внутренние органы. Например, о сложных драматических взаимоотношениях желудка и кишечника..." В каждый, а не только в газетный текст Сергей вставлял друзей.

Трудно найти не упомянутого им знакомого. Он пытался интимизировать эмиграцию, сделав ее своим домом. Целенаправленно создавая миф Третьей волны как большой семьи, Довлатов использовал фантомы. Он изобрел особый газетный жанр - "Случаи".

Эти крохотные, идущие без подписи, заметки выдавались им за действительные происшествия. Ничего интересного в эпизодах не было, за исключением героев - всегда эмигрантов. Вот, например, что рассказывалось в одной из них: "Бывший учитель физкультуры из Львова Гарри Пивоваров побил трех чернокожих хулиганов в сабвее. При этом один из них "нанес ему легкое ранение ножом для разрезания ковров".

Только последняя деталь выдает автора этой непритязательной истории.

С привычным произволом художника Сергей приукрашивал действительность, идя навстречу запуганным преступностью эмигрантам. Впрочем, я и правда знал одного украинского еврея, отбившегося от грабителей пылесосом, который он нес с распродажи. Чаше, конечно, встречи с преступниками кончались в их пользу. У моего брата за полтора месяца украли три телевизора.

Однажды, начитавшийся довлатовских "случаев", в газету пришел Завалишин с просьбой сообщить о том, что его квартира тоже подверглась ограблению.

Художественный критик, тонкий знаток Малевича, Вячеслав Клавдиевич был легендарной личностью. Великолепный лыжник, герой финской войны, он попал в плен к немцам, где в лагерях ДиПи умудрился издать четырехтомник Гумилева.

Когда я с ним познакомился, он был уже нищим стариком с плохим почерком. За его рецензии в "Новом русском слове", которые жадно читали и Целков, и Шемякин, и Неизвестный, платили по семь долларов. Пять из них шло машинисткам за перепечатку. Не удивительно, что Завалишин постоянно одалживал небольшие и, как это свойственно крепко выпивающим людям, некруглые суммы. Зная об Этом, все заинтересовались, чем поживились забравшиеся к Завалишину бандиты. Замявшись, Вячеслав Клавдиевич сказал, что ничем. Скорее наоборот - возле взломанной двери он нашел нож и молоток.

Обращаясь с газетой, как со своим черновиком, Довлатов часто выдумывал себе собеседника, выдавая за репортаж набросок рассказа. Иногда редко выходивший из дома Сергей пользовался чужим опытом. Так, он пересказал эпизод, случившийся с нами в самом начале афганской войны. Нас тогда угораздило попасть в бильярдную, где мы быстро выучились американским правилам.

Однако, когда в ответ мы предложили сыграть по нашим, один рослый парень ядовито сказал: "По вашим правилам будете играть в Афганистане". Мы ушли без скандала. Русским тогда было так неуютно, что наши таксисты выдавали себя за болгаров. Об этой ситуации Сергей написал раздраженную статью "Необходимый процент идиотов".

В другой раз он пересказал наше приключение в Гарлеме. В письме он даже выдал его за свое:

"Я года два назад писал репортаж из ночного Гарлема, мы были вчетвером, взяли галлон водки (я тогда еще был пьющим) и вооружились пистолетами..." На самом деле по Гарлему трезвые и безоружные мы гуляли вдвоем с Вайлем.

Обошли, помнится, все до одной улицы. На некоторых белых не было три поколения. Принимая нас из-за фотоаппарата за обалдевших туристов, нам то и дело говорили "Wellcome". В общем, все было мирно. Самое сильное впечатление оставил портрет черного, как сапог, Пушкина в витрине книжной лавки.

По-настоящему мы испугались только тогда, когда наш безобидный, но политически некорректный отчет "Белым по черному" попался на глаза знающему русский язык негру из госдепартамента. После того, как он объяснил, что за такое могут депортировать, мы с помощью Сергея долго каялись в печати.

В отличие от нас, Сергея в Америке больше интересовало не какой мы ее видим, а какими она видит нас. В одном его псевдорепортаже американка жалуется, что русские соседи подарили ей целую "флотилию деревянных ложек". "Но в Америке ими не едят, - объясняет она, - раньше ели, лет двести назад". В другой раз Довлатов спрашивает своего собеседника: "Ты знаешь, где Россия?" "Конечно, - якобы говорит тот, - в Польше." Но глупее всех был придуманный им дворник из Барселоны Чико Диасма. "При Франко всякое бывало, - утешает он Довлатова, - Но умер Франко, и многое изменилось. Вот умрет Сталин и начнутся перемены." В ответ Сергей объясняет что к чему до тех пор, пока просвещенный дворник не признает: "Чико сказал глупость".

Тут был уже явный перебор, и фразой этой мы дразнили Довлатова до тех пор, пока она не вошла в общий обиход. Стоило что-нибудь сморозить на летучке, как все хором кричали "Чико сказал глупость".

Конечно, Сергей не принимал всерьез свои репортерские проказы. Для него это была проба пера. Он напряженно искал американский сюжет.

Нащупывая его, он наткнулся на знакомых героев - люмпенов, бездельников, пьяниц и хулиганов. В эмиграции такими считали многочисленных выходцев из Пуэрто-Рико. Говорили, что единственный вклад пуэрто-риканцев в культурную жизнь Нью-Йорка - тараканы. Довлатов и к тем, и к другим относился без предубеждения.

"Филологи" От обыкновенной Америки Довлатова, как и других русских писателей на Западе, отделял тамбур, населенный славистами. Сергей оправдывал свой неважный английский тем, что единственные американцы, с которыми ему приходится общаться, говорят по-русски.

Я тоже знаю славистов лучше, чем остальных американцев. Именно поэтому они не перестают меня удивлять. На всех конференциях я спрашиваю, почему они выбрали такую странную профессию. Ответ зависит от пола: девушек увлек Достоевский, юношей - Джеймс Бонд.

С тех пор, как Россия утратила обаяние "империи зла", все изменилось. Если на моем первом докладе сидел славист с погонами, то сейчас семинары посещают в основном девушки в очках. Может, оно и к лучшему, ибо по-настоящему оживить американскую славистику может лишь локальный ядерный удар.

Но Довлатов появился в Америке вовремя. Русские студии были не академическими забавами, а жизненным делом, от которого реально зависела наша словесность. Дело в том, что литературный процесс тех лет направлял не столько "Новый мир", сколько мичиганское издательство "Ардис". Основавшие его Карл и Элендея Проффер, выдвинув лозунг "Русская литература интереснее секса", умудрились издать

целую библиотеку книг, ставшую литературой нашего поколения. Среди них была и вышедшая на русском и английском "Невидимая книга". Для 37-летнего Сергея она была первой.

Профферы настолько не походили на славистов, что остается только гордиться тем, что их смогла соблазнить наша литература. Рослая красавица Эллендея так хороша собой, что многие не верили, что она сама написала толстенную монографию о Булгакове. За "Ардис" ей дали щедрую и престижную "Премия гениев", ту самую, что незадолго до Нобелевской получил Бродский. В отличие от многих славистов, предпочитающих с нашими беседовать по-английски, Эллендея превосходно знает русский, включая и тот, на котором не говорят с дамами. Ее, впрочем, это не стесняет. Однажды, спросив о книгах одного эмигрантского писателя, она добавила "я в его творчестве - целка".

Карл еще меньше походил на профессора. Богатый наследник, звезда студенческого баскетбола, он был не ниже Довлатова. Да и умер Карл тоже рано. Заболев раком, он долго боролся с болезнью, чтобы маленькая дочка успела запомнить отца.

Его мемориальный вечер состоялся в Нью-йоркской публичной библиотеке. Все вспоминали, сколько Карл сделал для русской культуры. Бродский завершил этот длинный перечень летающей тарелкой-фрисби, которую именно Проффер первым привез в Россию.

Когда редактор нью-йоркской газеты "Новое русское слово" Андрей Седых назвал Довлатова "вертухаем", Сергей не обиделся, но задумался. В эмиграции ведь тогда не было обвинения страшнее, чем сотрудничество с органами. Особенно - в Первой волне, где ленились разбираться с подробностями. Даже нас, служивших в Риге пожарными, полемисты называли "эмведешниками". В том же "Новом русском слове" наборщик из белогвардейцев сказал, что не подаст руки сталинскому генералу. Генералом был Петр Григорьевич Григоренко. Поэтому, получив "вертухая", Довлатов решил объясниться с публикой, которая еще не читала "Зону".

Рассказывая о том, как и почему он был охранником, Сергей написал, что после армии "мечтал о филологии. Об академической карьере. О прохладном сумраке библиотек". Все это, конечно, неправда. Сергей хотел быть писателем, а не филологом. Что же касается "прохладного сумрака библиотек", то это была дежурная фраза, которой Сергей обожал меня изводить, после того, как я наивно поведал ему о своих академических амбициях.

Филология Сергея интересовала мало. Он ненавидел литературоведческий жаргон и с удовольствием вспоминал своего приятеля, списывавшего для предисловий ученые абзацы из вводных статей к книгам других писателей.

По-моему, Сергей просто не верил в существование такой науки. Тогда мне это казалось ересью, сейчас - гипотезой. Будь филология наукой, ее открытия не зависели бы от таланта исследователя - мы ведь не нуждаемся в гении Ньютона, чтобы пользоваться его законами. В отличие от природы, литература состоит из неповторяющихся явлений. Если они повторяются, то Это не литература.

Со словесностью можно разобраться только на ее условиях. Поэтому лучше всего о литературе пишут те, кто ее пишут. Эту мысль Довлатов сформулировал четко:

"Критика - часть литературы. Филология - косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог - с ближайшей колокольни".

Отсюда следует, что все хорошие критики - писатели.